

## ЛОМОНОСОВ И ЕГО СОВРЕМЕННОСТИ

(Вестник Европы. 1895. № 3. С. 295-342; № 4. С. 689-732)

## I

Ломоносов есть, без сомнения, величайшее имя нашей литературы XVIII века, — величайшее не по силе поэтического дарования, в чем выше его стоит Державин, следовательно, не по чисто художественному значению, которое, заметим, чувствовалось в этом первом периоде нашей новой литературы гораздо слабее, чем обыкновенно полагают; но имя, величайшее по целому литературному влиянию, которое давно побуждало видеть в Ломоносове «отца» новой литературы. В несколько образованном кругу русского общества тех времен ни одно имя не было окружено таким бесспорным почетом, как имя Ломоносова, даже имя самого Державина. По-видимому, его собственно литературное значение должны были заслонить дальнейшие успехи литературы, которые ознаменованы были творениями Державина, Фон-Визина, наконец, Карамзина; но авторитет Ломоносова держался неизменно не только в консервативной толпе старого века, но и между людьми более высокого литературного уровня: до самых тридцатых годов поклонником его на университетской кафедре был Мерзляков. И точка зрения, с которой возвеличивал Ломоносова этот последний могикиан восемнадцатого века, была, однако, не совсем та, с которой ценит его историческая критика. Мерзляков восхищался еще поэзией Ломоносова; но Пушкин, а затем Белинский судят уже иначе: заслуга Ломоносова полагается гораздо больше в его ученых трудах, в создании литературного языка — или, по крайней мере, в первом шаге к этому созданию, который состоял в определении элементов книжной русской речи и указании их относительного значения. По известным словам Пушкина, Ломоносов был первым нашим университетом, и этими словами верно обозначен основной смысл деятельности Ломоносова, заключавшейся именно в том, что он пролагал пути в самых различных отраслях науки и литературы, становился руководящим авторитетом в такой широкой области знания и поэзии, какой с тех пор не обнимал ни один из наших писателей, и своим стремлениям на поприще знания и литературы придавал ту властную силу, которую сообщает сильный первостепенный ум и глубокое убеждение. <...>

Мы видели, как задолго до Ломоносова в возникавшем кругу несколько образованных людей начинают появляться признаки новых литературных вкусов. В тесной связи с книжными преданиями конца XVII века, если не в «литературу», то в «письменность» проникает немалое число переводов, в которых оказались, наконец, характерные произведения западноевропейской поэмы, романа, повести конца XVII и первой половины XVIII века. Не было еще никакого определенного воздействия, ни школы, ни сильного руководящего таланта, между тем настроение уже изменилось; образованные или грамотные люди были больше или меньше подготовлены к новому складу литературы, — первые непосредственным знакомством с литературой французской или немецкой, вторые — упомянутыми переводами. Тредьяковский не усумнился в 1730 г. издать свою «Езду в остров любви», аллегорический и сентиментальный любовный роман, который на самом деле должен был показаться не малой странностью среди тогдашней *печатной* литературы; но читатель литературы *рукописной* был уже знаком с подобными произведениями. Таким же образом псевдоклассическая трагедия и комедия не были совершенной новостью после школьного и придворного репертуара. Форма лирики в виде оды знакома была со времен Симеона Полоцкого; в виде легкого стихотворения знали ее, в подражании классикам, еще в школьном стихотворстве начала

столетия; в виде любовной песни пробовали ее Монс<sup>1</sup> и Столетов<sup>2</sup>, и сама цесаревна Елизавета Петровна...

Ломоносов и его современники явились первыми писателями в настоящем смысле слова, писателями по профессии и по призванию, и это одно стало важным фактом\*. Это не были уже случайные любители, не помышлявшие действовать открыто на литературном поприще и творения которых безыменно распространялись только в тесном кругу. С ними, напротив, впервые открыта была литературная арена и, следовательно, сознательная деятельность с определенными целями, выступавшая в печать, имевшая в виду весь круг наличных читателей: она должна была служить их пользе и удовольствию, а также открыта была и их критике. Одним словом, здесь впервые возникала литературная жизнь не как случайное явление, но как необходимое явление жизни общественной. Это был целый переворот во внешней, а затем и во внутренней постановке литературы: для нее впервые открывалась возможность широкого развития в будущем на почве общественной жизни.

Когда предшествующие начатки сами собой должны были указывать, как последующий шаг, известную организацию новых литературных стремлений, литературный труд действительно образовался теперь как профессия. Первые представители ее явились как бы не случайно из различных слоев общества: Ломоносов был свободный крестьянин, Тредьяковский был церковник, Сумароков происходил из старого дворянского рода. Образование их, при всей немногосложности тогдашней школы, шло довольно различно. Тредьяковский и Ломоносов прошли предварительно церковную школу в Московской Славяно-греко-латинской Академии; первый стал профессором элоквенции, второй — естествоведом; Сумароков учился в Шляхетном кадетском корпусе; все трое, однако, обратились в конце концов, и даже очень скоро после своей школы, к одному источнику своего дальнейшего литературного образования — к новейшей западноевропейской литературе, хотя первым двум школа вовсе этого не указывала и только у третьего школьное учение привило вкус к французской литературе, который у Сумарокова сделался страстью. Литературные вкусы в новом направлении возникали, таким образом, сами собой. Первый пример уже довольно скоро нашел последователей, а затем число их стало размножаться в сильной прогрессии, — хотя, впрочем, размножение было больше количественное, чем качественное. Деятельность этих трех писателей была началом новой русской литературы. Хронологически это начало восходит к тридцатым и особенно к сороковым годам XVIII века\*.

Эти первые писатели были опять весьма различны по складу ума и дарования. Ломоносов был сильный положительный ум научного склада, если не поэт в широком смысле слова с творческой фантазией, создающей живые образы, с тонким чувством, то, во всяком случае способный к поэтическому настроению и способный сильно выражать его в известной области — в изображениях широких явлений природы, в порывах патриотического чувства, и всех превывавший в свое время чутьем и знанием языка. Тредьяковский, столь некогда ославленный за свою бездарность, но в последнее время находивший, наконец, защитников, был по своему времени человек с большим литературным образованием и бесконечным трудолюбием, имеющий за собой несомненную заслугу правильного определения свойств русского стиха, но сам много писавший стихами крайне уродливыми и совсем лишенный в этом случае чувства изящного, хотя теоретически мог понимать его, что он доказывает, например, указаниями на красоту нашего песенного стиха. Сумароков был, прежде всего, плодовитый версификатор с известным поверхностным дарованием, сполна увлеченный своими французскими образцами и несколько самостоятельный только в своих желчных

---

\* Кантемир остался еще в области «письменности»: его сатиры изданы были лет через двадцать после его смерти, и когда уже приходила к концу деятельность Ломоносова.

\* Они были почти однолетки: Тредьяковский — 1703–1769, Ломоносов — 1711–1765, Сумароков – 1718–1777.

сатирических произведениях, которые, впрочем, имели довольно тесный горизонт. При всем различии этих характеров и их литературного содержания, эти первые писатели сходились в одном общем стремлении. Они одинаково чувствовали, что стоят в начале нового литературного периода, и это само собою направило их деятельность.

Перед ними стояла задача созидания новой литературы. Первые годы их жизни прошли в знаменательную эпоху, которая была великим историческим переворотом. Для всех, в ком был живой инстинкт национального величия и в ком пробудилась жажда знания, эпоха Петра должна была представляться повелительным указанием дальнейшего труда на поприще начатых преобразований и на поприще знания. Едва ли во всей нашей литературе прошлого века был другой писатель, который глубже был проникнут чувством того и другого, чем был Ломоносов: это чувство стало для него убеждением, проникавшим неизменно все его помыслы. Память Петра была еще свежа, и подобное настроение господствовало и в тоне официальной жизни, и в искреннем убеждении наиболее образованных людей. В применении к литературе и науке исполнение заветов Петра было так же обязательно, каким признавали его в других областях национальной жизни. В чем должно было оно состоять, было ясно. Если Петр водворял у нас науки, надо было продолжать его дело, которого, по его многосложности, он не успел совершить; задуманное и решенное им надо было осуществить, как только по его смерти можно было основать задуманную им Академию Наук. Труд предстояло очень много, и в числе наук, которые нужно было водворить, была также и литература (*scheme Wissenschaften, belles lettres*), которая так богато процветала у всех просвещенных народов Европы. Для науки, по мысли Петра Великого, основано было учреждение, которое должно было сразу стать наравне с европейскими академиями и вместе с тем служить для образования русских ученых людей — в этом учреждении прошла потом неутомимая и страстная деятельность Ломоносова; но должно было стараться о размножении средств науки, и с другой стороны — заботиться о «насаждении» изящной литературы: этой последней надо было служить собственными усилиями — не представлялось другой возможности установить дело, основой которого везде была свободная деятельность писателей. Общение их было возможно только в деле критики и в работах по установлению литературного языка, как это было во французской Академии, — и по этому примеру при Петербургской Академии, еще до Ломоносова, устроилось, как дальше увидим, особое «Российское Собрание».

Названные писатели чисто случайно стали во главе литературного дела: один, попович, на свой страх и «шедши пеш», сбежал из Славяно-греко-латинской Академии в Париж, там слушал лекции и увлекся французской литературой; другой, после той же Академии, был прямо послан за границу, где должен был учиться сначала немецкому языку, потом философии и горному делу, — ему рекомендовали также заняться «российским штилем», неизвестно какими средствами; третий учился в кадетском корпусе. Ни об одном неизвестно, чтобы кто-нибудь из них возрастал под каким-либо определенным нравственным и литературным руководством. Главный мотив, который пробудил в них страстный интерес к «насаждению» новой литературы, заключался в том могущественном впечатлении, которое оставила недавно только кончившаяся преобразовательная деятельность Петра Великого. Мы видели раньше, как это влияние увлекало непосредственных свидетелей и современников преобразования, и долго после, в течение целого последующего века, его память, укрепляемая наглядными результатами, возбуждала умы, восприимчивые к интересам просвещения. Такими восприимчивыми, хотя очень различными по размерам дарований, людьми были и названные писатели, и ими сполна овладело стремление доставить русской литературе то, чего ей еще недоставало на новом пути национальной жизни. В силе политической Россия со времен Петра сравнялась с самыми могущественными государствами Европы; нужно было, чтобы она не уступала им в просвещении и литературе. Достичь этого можно было только перенесением в Россию, усвоением ею тех успехов просвещения, какими гордилась тогда

Европа. Если можно было заимствовать устройство войска, флота, усвоить разнообразные технические знания, отчего нельзя было таким же образом усвоить успехи литературы? Исторически было, конечно, великим заблуждением думать, что перенять и основать новую науку и литературу было так же удобоисполнимо, как завести новое войско, флот, горное дело, фабрику и т. п. Но это заблуждение было психологически весьма естественно. Недавняя история дала в самом деле поразительные факты успехов, сделанных в течение не больше как одного поколения: войско учили иноземцы, флот устроен по иноземному образцу, — но это войско уже вскоре одержало Полтавскую викторию, отвоевало вместе с флотом в чужой земле место для новой столицы, флот одержал победу при Гангуте; немцы или шведы помогли устроить горное дело, — но новые богатства послужили русскому могуществу; новые «инвенции в науках», которые сделаны были выписанными иноземными учеными, опять пошли на пользу России, и такие «инвенции» стали делать потом и «природные» русские... Почему не могло быть того же в «словесных науках»? Источник, откуда брались новые государственные учреждения (войско, флот и пр.) и откуда брались новые науки, был один и тот же: Западная Европа; но там же, и только там, процветали и словесные науки, которые шли рядом с богатыми успехами учености. Ясно было, что и для «насаждения» литературы следовало обратиться к тому же изобильному источнику. <...>

## II

Ломоносов, как мы сказали, был самым крупным лицом во всей нашей литературе XVIII века. Его значение чувствовали, хотя и не вполне сознавали, его современники и ближайшее потомство: в нем уважали первого русского ученого, который мог с полным правом стоять наряду с тогдашними учеными европейскими; но, несомненно, еще больше почитали в нем простодушно российского Пиндара, пожалуй, Гомера или «российских стран Малерб»; последующие поколения, ограничивая его славу как поэта, признавали в нем великие заслуги в образовании русского литературного языка, в заботах о распространении науки, в пламенном патриотизме, приписывали ему (весьма преувеличенно) самостоятельное научное творчество и т. д.; по словам Пушкина, он был «первым нашим университетом». Все эти заслуги в различной, но во всяком случае высокой степени, принадлежат Ломоносову; но чтобы определить самую глубокую историческую его черту, ее должно указать в его целом мировоззрении, которое впервые водворяло у нас истинный смысл просвещения в том объеме, в каком оно было приобретено тогда усилиями европейской науки. Если придавать преобразованиям Петра решающее значение в новом повороте нашей гражданской и умственной жизни, то Ломоносов впервые дал этим преобразованиям тот глубокий внутренний смысл, при котором они могли стать действительно новым периодом в развитии русской *мысли*. В самом деле, для того, чтобы умственная и нравственная жизнь русского народа могли вступить на более широкий простор из их прежней средневековой ограниченности, еще недостаточно было всех тех великих нововведений, какие были произведены Петром во внешней жизни государства; недостаточно было тех забот об основании школ, о расширении старого «книжного почитания» новыми сведениями из новейшей европейской науки, до сих пор неслыханными и расширявшими тесный горизонт старого книжничества; недостаточно было прямо выставлять учения новой науки, хотя бы пугавшие и приводившие в негодование суеверов старого века (как учение Коперника); недостаточно было даже так решительно отвергать старое невежество, как это было сделано, например, в «Духовном Регламенте»<sup>3</sup>, — все это было отголоском новой европейской мысли, отвергшей средние века, но все эти нововведения вступали в жизнь как бы механически, становясь рядом с ее прежним содержанием, отвергая в нем, что было в нем совершенно устарелого, но не указывая ясно того общего начала, на котором впредь могло и должно было быть построено органически новое мировоззрение: нужно было уразуметь и указать это новое

начало, и это сделано было Ломоносовым. Государственное преобразование в той широкой форме, какую давала ему гениальная деятельность самого Петра, заключало в себе могущественные возбуждения к созданию этого нового мировоззрения; но как самое преобразование, притом рано прерванное, поглощено было насущными практическими нуждами, так и самое дело было слишком ново, чтобы одновременно сделан был и другой важный шаг национального развития. Нужно было, чтобы эти общие возбуждения реформы нашли опору в более широком научном воспитании, чем то, какое могло быть получено в едва возникавшей русской школе; чтобы родился новый могущественный ум, который был бы в силах усвоить научную мысль во всей ее широте и внести ее, — по крайней мере, насколько было возможно — в умственную жизнь русского общества: таким человеком и явился Ломоносов. Его деятельность была блистательным результатом и оправданием реформы, а вместе и ее необходимым дополнением. Если имел великое значение тот общий факт, что с эпохой Петра в русском образовании (каковы бы ни были его размеры) введены были авторитетом власти элементы науки светской, до тех пор неведомой и, однако, отрицаемой, введены взамен старой исключительной и односторонней схоластики; то с деятельностью Ломоносова в этой светской науке впервые указан был глубокий смысл ее как основы нового мировоззрения, которое должно было в первый раз сменить систему средневекового легендарного мировоззрения.

Как мы видели это относительно водворения новых литературных форм, которое велось очень медленно, в сущности на пространстве двух-трех поколений, так и здесь, в более глубоком вопросе самого содержания новых идей, движение шло чрезвычайно медленно: тот новый склад понятий, который заявляла светская наука, при своем первом появлении высказывался только чрезвычайно отрывочно, как бы только подразумевался в книгах исторических, географических, астрономических, какие переводились при Петре, и, конечно, только в таком же отрывочном виде усваивался более образованными людьми того времени: вещи, по существу противоречивые, укладывались в головах рядом, не заявляя о своем противоречии; новое понятие принималось поверхностно, вызывая только элементарные выводы и не увлекая мысли к дальнейшему его развитию и применению; мысль могла созреть лишь с известной постепенностью. С основанием Академии Наук в среду русского общества был внезапно вдвинут целый круг западных ученых людей, с которым оно не имело ничего общего. Иноземная наука тотчас начала свои труды, между прочим над вопросами практического изучения России, но приемы ее были русским людям не знакомы, ученые сочинения писались по-латыни, частью по-немецки или по-французски, и на русском языке невозможно было даже передать их содержания по недостатку научно-логического языка и технической терминологии. Заметим мимоходом, что по этому поводу высказывалось немало обвинений и против Петра, и против самой Академии, которая являлась в Петербурге таким же чуждым растением, как могла бы явиться в Пекине. Очевидно, однако, что иначе нельзя было и поступить: приходилось призывать науку в лице ее чужеземных представителей и от них невозможно было бы требовать, чтобы они тотчас превратились в русских, — притом всего чаще их призывали в Россию по контрактам только на известное время; нужно было только заботиться, чтобы они имели русских учеников и научали их, с тем, чтобы через некоторое время могли образоваться русские ученые. Так об этом и думал Петр Великий, и вскоре при Академии Наук была действительно устроена Гимназия, т. е. курсы приготовительного характера, а затем и Университет, питомцы которого выходили в адъюнкты Академии; на первое время чужеземная наука на чужеземных языках стояла как бы только *подле* русской литературы или даже русской письменности, и когда уже в первое время делались попытки передавать эту ученость на русском языке, то получались уродливые переводы, совершенно невразумительные для тех, кто был бы не в состоянии читать самого подлинника. Первые русские ученые могли образоваться только прямо под руководством профессоров-иноземцев или просто за границей: так учился Тредьяковский в Париже; так Ломоносов, только что вызванный из Славяно-греко-латинской Академии, был послан за

границу, где и прошел собственно правильную школу под руководством знаменитого в те времена Христиана Вольфа. Прочный корень науки мог быть положен только тогда, когда ее содержание было бы принято не на веру, не из подражания, не под давлением чужого авторитета, а самостоятельно продумано и усвоено сильным умом, способным к независимому исследованию, и вошло в его собственную умственную природу. В первый раз это сделано было Ломоносовым, и в этом была его великая заслуга и залог его обширного влияния в течение XVIII века, и его историческое значение в русской литературе.

Это историческое значение Ломоносова до сих пор с точностью не определено. В течение XVIII века, можно сказать, почти с первых его трудов по возвращении из-за границы, он пользовался великим авторитетом, который при его жизни возрастал с каждым новым трудом в области науки и литературы, так что имя его становилось как бы нарицательным именем великого ученого и, наконец, окружено было славой, к которой почти не осмеливалась прикасаться критика. Сочинения его несколько раз издавались в течение XVIII века и в начале XIX, явились потом в известном собрании Смирдина<sup>4</sup>, позднее одна доля их повторена была в сборниках «Избранных сочинений», и только в последние годы предпринято обширное академическое издание<sup>5</sup>, о котором скажем далее. Но историческое изучение его двигалось очень медленно и, прежде всего, сделано было историками литературы относительно его собственно литературных произведений: и здесь слава Ломоносова долго оставалась неприкосновенной, и только со времен Пушкина и потом Белинского стало высказываться более критическое отношение к размерам его поэтической заслуги. Но его заслуги научные и самая биография оставались все еще мало выяснены: специалисты только изредка касались его ученых трудов (как в тридцатых годах Перевошиков); биография могла быть разработана только по архивным документам Академии Наук, которые, по старому обычаю, могли быть доступны только с трудом. Но целый ряд исследований был возбужден столетней памятью смерти Ломоносова: с 1865 года появляется целый ряд более или менее замечательных трудов, посвященных как его биографии, так и определению различных сторон его деятельности.

«Столетняя годовщина дня рождения знаменитого писателя, — говорит Пекарский<sup>6</sup>, заканчивая биографию Ломоносова, — прошла незамеченною; но зато о нем вспомнили по случаю приближения ста лет после кончины его: 4-го апреля 1865 г. во многих местах России отправлялись торжества, посвященные воспоминаниям о Ломоносове. Кроме обедов с речами и стихами, было сделано тогда несколько и полезных дел: учреждены стипендии в разных учебных заведениях; основано училище в селении, где родился Ломоносов; установлена премия в награду за лучшее ученое сочинение по наукам, которым посвящал себя наш академик; объявлен конкурс на составление жизнеописаний Ломоносова: одно, которое бы удовлетворяло строгим научным требованиям, другое — доступное пониманию народа. Наконец, плодотворным последствием Ломоносовского юбилея следует также считать обнародование в тогдaшнее время в значительном количестве рукописных источников для его жизнеописания и вообще появление в печати разысканий о деятельности и сочинениях его. То правда, что ближайшее знакомство с тем, что стало известно о Ломоносове после его юбилея, неминуемо ведет к признанию неверными и преувеличенными взглядов того кружка, голоса из которого громче всех раздавались на Ломоносовском юбилее. Таким образом, не подтверждается мнение, что Ломоносов сделал в области естественных наук великие открытия, будто бы оставшиеся неизвестными до нашего времени только по равнодушию русских к отечественным гениям. Нашлось также немало опровержений тому, чтобы великий наш писатель был постоянно тесним и угнетаем, отчего будто бы он и не успел осуществить все задуманное им. При всей гениальности и необыкновенных дарованиях, у Ломоносова, как у всякого человека, были свои слабости, недостатки, и они вредили ему в жизни не менее его врагов».

Юбилей не только вызвал в данную минуту несколько замечательных трудов о Ломоносове, но вообще указал важность исторического вопроса, и действительно с тех пор определение его биографии и исторического значения становится на прочную почву фактического изучения. Таковы были издания материалов и исследования гг. Ку-ника<sup>7</sup>, Билярского<sup>8</sup>, Ламанского<sup>9</sup>, Будиловича<sup>10</sup>, Пекарского, Любимова<sup>11</sup> и др. <...>

Мы должны предположить известной биографию Ломоносова и остановимся в ней лишь на некоторых чертах, которые были или считались особенно важными для определения его характера. В юбилейной литературе Ломоносов в особенности был изображаем как чисто русский национальный деятель науки, человек из народа, потому враг немцев, один защищавший против них интересы русского образования: он был таков именно потому, что был «помор»... Несомненно, что в общем счете условий, которыми определяется окончательно исторический склад характера, весьма важны бывают условия первоначальной среды, дающие первый толчок пробуждающейся мысли, первую складку нравственной и умственной природы. Не безразлично было поэтому то обстоятельство, что Ломоносов был уроженец края с энергическим трудовым населением, с преданиями свободного крестьянства, не знавшего крепостной зависимости, наконец, с воспоминаниями о недавних пребываниях в этом крае Петра Великого. Родиной Ломоносова была, по словам Соловьева, поморская или беломорская страна, пустынная, холодная, но прилегавшая к морю, которое принадлежало Европе, на котором появлялся европейский корабль. Сюда явился очень скоро молодой преобразователь, жаждавший моря; эта страна впервые почувствовала прикосновение его сильной руки. Страна, народонаселение которой давно привыкло к трудной и опасной, развивающей силы деятельности, давно привыкло к тем явлениям, которые стояли теперь на очереди, сильно потребовались, эта страна наполнилась новым духом, новым движением; кто-то сильный, необыкновенный явился, пришел, оставил неизгладимые следы, поразил воображение, овладел памятью народа. Всюду для людей чутких, исполненных силы, слышались слова: «Иди за мной, время наступило!» Под такими впечатлениями богатырского времени новой России воспитывался одаренный великою духовною силою сын холмогорского рыбака... Работа с отцом, морские плавания и промыслы, укрепляя его физические силы, делали из него богатыря и телом. Богатырь не усидит в отцовском доме; его тянет на подвиг, а подвиг новой, преобразованной России — не разминать в степи плечо богатырское, а «развивать ум наукою в школе». Главное было, однако, в том, что этот сын рыбака одарен был великою духовною силою. Люди, ставшие великими поклонниками Петра и исполнителями поставленных им задач в области просвещения и гражданской жизни, выходили из всех стран России, из всех слоев общества и из всех поколений, которых коснулась его эпоха: это был и подмосковный крестьянин Посошков<sup>12</sup>, человек старого века, и московский боярин Татищев, и малоросс Прокопович, и молдавский аристократ Кантемир; все они работали для одной цели русского просвещения по мере своих сил, по размерам своего понимания, — но именно у Ломоносова эти размеры были необычны. Поэтому его служение русскому просвещению получило такую широту, какой до него еще не было видано и которая доставила ему господствующее положение. Ему помогли природные задатки его физической и умственной силы, но направление этих сил уже не зависело от специального места его родины: прошло почти двести лет со времени его рождения, и его родина не дала другого человека, который представлял бы хотя отдаленное подобие этой силы ума и характера.

То содержание, к которому направилась умственная работа Ломоносова, было именно содержание тогдашней европейской науки. Новые исследования не оправдывают предположения или утверждения его крайних панегиристов, что он намечал особые, национальные пути науки; специалисты приходят к убеждению, что он был, без сомнения, сильный логический ум, остроумный и оригинальный наблюдатель, но, — быть может, вследствие слишком разбросанной его деятельности (к чему он был вынуждаем и самими

обстоятельствами), — он не занял в науке своего времени первенствующего и руководящего положения; вместе с тем, он сам не думал вовсе выделять из этой целой науки какое-нибудь особое, специальное, национальное направление. Как дальше увидим, наука, напротив, казалась ему единым целым, общечеловеческим достоянием, и он стремился только к тому, чтобы это достояние было усвоено и русскими умами, обогащалось потом и их участием в общем труде. Для этой «западной» науки, которую он считал общечеловеческою, было у него одно только противоположение — мрак невежества, одинаково и невежества иноземного и русского. Останавливаясь на этом вопросе исторической заслуги Ломоносова, его биограф, натуралист, замечает: «...труды Ломоносова были скорее образчики трудов, чем труды, доведенные до конца. Но именно в том обстоятельстве, что, несмотря на свои несовершенства, труды эти могут быть, по справедливости, признаны трудами самостоятельного мастера, в этом полном равенстве *первого* русского академика с современными ему представителями европейской науки и заключается великое для нас значение Ломоносова как первого русского ученого. Нет ничего фальшивее стремления выискивать в Ломоносове, представителя русской науки и русской цивилизации, как чего-то особого от науки и цивилизации "запада", иною мерою измеряемого, иному миру принадлежащего. Ничто так не противоречит всему характеру деятельности Ломоносова, всему духу Петровского преобразования, как такое стремление противопоставлять русское европейскому, вместо того, чтобы противопоставлять его французскому, английскому или германскому, на равном праве в европейской семье... Истинное значение Ломоносова как ученого, в том, что он был первым русским ученым в европейском смысле, живым оправданием замысла Петра ввести Россию как равного члена в семью европейских народов. Ломоносов был ученый в том же смысле, как его знаменитые учителя и его талантливые товарищи. Заслуги Ломоносова достаточно велики, они не нуждаются ни в преувеличении, ни в фальшивом освещении»<sup>\*\*</sup>.

Тот же биограф находит фальшивым и другое стремление — изобразить Ломоносова «непонятым, нецененным и изнемогающим в борьбе с завистью и недоброжелательством академиков-немцев, свивших будто бы себе теплое гнездо в Петербурге и старающихся повредить делу русского просвещения». На этот раз обвинители академиков-немцев были не совсем неправы, потому что деятельность таких людей, как Шумахер или Тауберт, представляла действительно поводы к справедливому негодованию Ломоносова, несомненно, ближе принимавшего к сердцу интересы русского просвещения, тогда как на другой стороне гораздо больше, если не исключительно, имелась в виду только личная выгода. Но с другой стороны, во-первых, сам Ломоносов был не из таких людей, которые давали себя в обиду, как сейчас увидим, а во-вторых, едва ли не самая большая вина раздоров в среде Академии лежала в ее общем неустройстве, причиною которого были сами русские люди. Действительно, история Академии за большую половину ее существования в XVIII веке поражает обилием раздоров и непорядков, происходивших от крайней неопределенности ее общего положения. Академия была в русском обществе совершенно новым учреждением, к которому как будто бы сама власть не знала как относиться. Ее члены были в первое время иностранцы, почти исключительно приглашаемые только на известный срок по контрактам; их наука была делом совсем неведомым и их ученые требования должны были приниматься на веру, потому что некому было о них судить; само внешнее управление было неопределенно, потому что Академией распоряжались и президент, и Двор, и Сенат; вместе с тем, с Академией надо было обращаться бережно, она была необходима, потому что, за редкостью настоящих ученых людей, на членов Академии вваливали исполнение самых разнородных дел: на их попечение были ученые экспедиции для описания России, что считалось необходимым по разным соображениям; они должны были заниматься «инвенциями» в своих науках и поддерживать славу Петербургской Академии в ученом

---

\* Любимов. С. 189 и далее.



мире для блеска империи; к ним обращались за сведениями в деловых вопросах, где требовалось специальное значение; они должны были наблюдать за учебными учреждениями и иногда приходилось им, в случае надобности, быть высшими экзаменаторами для питомцев других заведений; они должны были издавать ученые и общепользные книги (из последних, напр[имер], календарь); наконец, они же, особенно русские академики, должны были поставлять торжественные речи и стихотворные произведения, им приказывалось сочинять не только оды, но и трагедии, переводить либретто для придворных спектаклей, писать стихи или надписи на иллюминации, фейерверки и т. п. За учеными людьми признавалась некоторая привилегия их особой службы, непонятной для людей обыкновенных, но вместе с тем в администрации Академии господствовал нередко настоящий хаос, где лица, к ней принадлежащие, не могли разобраться в своих правах и взаимных отношениях. Надо думать, что если бы жил Петр, этот внутренний распорядок установился бы так или иначе, потому что он сам заинтересован был делом; но после него, в течение целых десятков лет, не было ни настоящего интереса к истинным задачам Академии, ни понимания того, как может быть правильно устроена внутренняя жизнь ученого учреждения. При господствующих нравах должно было кончиться тем, что академические дела окажутся в руках ловкого человека, который сумеет ладить с влиятельными людьми: таким человеком оказался действительно Шумахер... В среду этого хаоса и попал Ломоносов при своем вступлении в Академию. Понятно, что в академических не порядках виноваты были не одни немцы, но и те русские люди, которые не умели упрочить правильного существования ученого учреждения: при Елизавете президентом Академии был человек русский, гр. К. Г. Разумовский, правую руку его в академических делах был другой русский, Теплов, а перед тем, когда в 1742 году, вследствие жалоб, поданных от многих лиц в самой Академии на Шумахера, учреждена была особая Следственная Комиссия, во главе ее стоял опять русский человек, адмирал гр. Головин<sup>13</sup>, а одним из главных действующих лиц был другой русский человек, президент Коммерц-Коллегии, князь Юсупов<sup>14</sup>. Попал под следствие и только что перед тем вступивший в Академию Ломоносов и очутился в числе «колодников комиссии»...

Как мы сказали, Ломоносов, несомненно, предан был пользам русской науки, но, к сожалению, его способ действий был таков, что он нередко или сам давал против себя оружие своим врагам, или, когда уже пользовался в Академии большим авторитетом, не умел оставаться в границах справедливости... По возвращении из-за границы он нашел Академию в том состоянии беспорядка, о котором мы говорили; он пристал к Нартову, хотевшему защищать интересы Академии против Шумахера: в Академии уже не было «Петром Великим выписанных славных людей»; они уехали, как все говорили, от Шумахера, а их места заняли люди, к которым он не имел уважения. Ломоносов стал бывать «шумен», а в таких случаях он бывал весьма беспокоен. «Нам тяжело теперь говорить о пороке, — замечает Соловьев, — которому был подвержен Ломоносов, о тех поступках, которые были следствием его *шумства*, но мы знаем, что современники смотрели на это шумство и беспорядки, от него происходившие, гораздо снисходительнее. Французские писатели середины XVII века с радостью отзываются, что пьянство вывелось у них в высших кругах и предоставлено низшим. Германия, отстававшая в это время от Франции во всех других отношениях, отстала и в этом»... Но в этом «шуму» Ломоносов творил вещи весьма жестокие. В 1742 году на него жаловался академический садовник Штурм: «Пришед ко мне в горницу и говорил, какие нечестивые гости у меня сидят, что епанчу его украли, на что ему отвечивал бывший у меня в гостях лекарь Брашке<sup>15</sup>, что ему, Ломоносову, непотребных речей не надлежит говорить при честных людях, за что он его в голову ударил, и схватя болван, на чем парики вешают, и почал всех бить и слуге своему приказывал бить всех до смерти (!), и выскочив я из окон и почал караул звать, и пришел я назад, застал я гостей своих на улице битых, и жену свою прибитую» и

проч[ее]<sup>\*</sup>. Полиция забрала Ломоносова и, как адъюнкта Академии, отослала в Академию; но так как это случилось именно в то время, когда шло в упомянутой комиссии следствие по жалобам на Шумахера и Академией правил Нартов, то эта история кончилась для Ломоносова без последствий. Затем, однако, произошла другая. В следующем году сам Ломоносов был привлечен к допросу в комиссии по жалобе профессоров Академии. Они писали: «Сего 1743 года апреля 26 дня пред полуднем он, Ломоносов, в противность всем честным и разумным поступкам, напившись пьян, приходил с крайнею наглостию и бесчинством в ту палату, где профессеры для конференций заседают и в которой в то время Профессорского Собрания хотя и не было, однако ж находился там при архиве конференции профессор Винсгейм и при нем были канцеляристы... Ломоносов, не поздравивши никого и не скинув шляпы (как бы ему по учтивству сделать надлежало), мимо их прошел в Географический Департамент, где рисуют ландкарты, а идучи около профессорского стола, ругаясь оному профессору, остановился и весьма неприличным образом бесчестный и крайне поносный знак самым подлым и бесстыдным образом руками против них сделав<sup>\*</sup>, пошел в оной Географический Департамент... В том департаменте, где он шляпы так же не скинул, поносил он профессора Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и другими скверными словами, чего и писать стыдно... Сверх того грозил он профессору Винсгейму, будучи еще в той же палате, ругая его всякою скверною бранью, что-де он ему зубы поправит, а советника Шумахера притом называл вором. Вышед из Географического Департамента, пришел возвратно в Конференцию... и всех профессоров бранил скверными и ругательными словами и ворами называл, за то, что ему от Профессорского Собрания отказали, и, повторяя оную брань неоднократно, сказывал с великим бесчинством и посмеянием, чтоб то в журнал записал». Профессоры просили приказать арестовать Ломоносова «и, рассмотря показанное нам от него несносное бесчестие и неслыханное ругательство, повелеть учинить надлежащую праведную сатисфакцию, без чего Академия более состоять не может, потому что ежели нам в таком поругании и бесчестии остаться, то никто из иностранных государств впредь на убылые места приехать не захочет, так же и мы себя за недостойных признавать должны будем, без возвращения чести нашей, служить Ее Им-п[ераторскому] Велич[еству] при Академии, понеже во всех государствах, где есть академии, такого ругательного примера, как нам случилось, не бывало». Призванный в комиссию, Ломоносов и здесь не унялся, на вопросы комиссии «он, Ломоносов, сказал: я-де по-пустому ответствовать не буду и надо мною главную имеет команду Академия, а не комиссия, и надлежит-де его требовать от Академии, а без того в допрос не пойдет и ничего-де со мною комиссия сделать не может. И сверх того пред присутствием кричал он, Ломоносов, неучтиво и смеялся»<sup>\*\*</sup> ... За это, однако, он был арестован и оставался при комиссии «колодником», по-видимому, от июня 1743 до января 1744, когда последовала по этому делу резолюция Сената<sup>\*\*\*</sup>. Она была очень мягкая: Ломоносов был освобожден от наказания «ради его довольного обучения», велено было выдавать ему только половинное жалованье, но через несколько месяцев велено было по высочайшему указу выдавать ему прежнее жалованье.

Сенатская резолюция очень любопытна, как свидетельство о самом положении науки и литературы: в самом Сенате (надо, впрочем, думать, не без отголосков от Двора) сказалось уважение к человеку, который был тогда единственным сильным представителем науки из русских; в нем берегли ее надежду в будущем, — хотя все-таки долго держали колодником. Быть может, еще больше ценили в нем стихотворца: за время своего заключения Ломоносов не забыл придворных торжеств, и его оды производили большое впечатление...

<sup>\*</sup> См. подробности этой баталии у Билярского. С. 9-14.

<sup>\*</sup> То есть показал кукиш.

<sup>\*\*</sup> *Билярский*. С. 33 и далее.

<sup>\*\*\*</sup> У Пекарского это изложено не совсем ясно.

Таким образом, характер был вовсе не таков, чтобы Ломоносова можно было представлять угнетаемым защитником интересов русской науки в Академии. Можно скорее пожалеть, что все условия положения русской науки были крайне неблагоприятны по непониманию или равнодушию к истинным пользам русской науки в тех сферах, от которых зависело обеспечить ее положение\*\*\*\*. Можно пожалеть, что Ломоносов не направлял своей энергии в защиту русских интересов более целесообразно: драки, ругательства, поправление зубов и самые кукиши немецким академикам не могли означать успехов русской науки (впоследствии еще на сотню лет Академия все-таки не обходилась без выписных немцев), и при таких нравах Академия действительно «не могла состоять». Можно пожалеть, что желание господствовать в Академии и необузданность характера помешали установиться здравым отношениям Ломоносова с двумя немецкими академиками, которые оказали тогда и после великие заслуги для русской науки, именно для русской историографии. Это были Шлёцер и Миллер. Ни тот, ни другой тоже не были уступчивого характера, и особенно раздор Ломоносова с Миллером был, несомненно, вреден для успехов едва возникавшего исторического знания. Те неправильности, в которых Ломоносов обвинял Миллера, могли быть, как ученое мнение, предметом специальной критики, а не предметом обвинения в политическом недоброжелательстве, могли быть найдены неудобными в официальной речи, но не достойными осуждения по существу. Громадный исторический труд, совершенный Миллером в течение его жизни, остается лучшим оправданием Миллера против обличений, которыми осыпал его Ломоносов; таким же образом Ломоносов, который не мог не видеть исключительных дарований Шлёцера и сам признавал их, никак не хотел допустить его занятий русской историей из-за опасения его «иностранизма», «худого характера» и возможных с его стороны «занозливых» речей о России, не предвидел, что этот самый Шлёцер станет для русских исследователей учителем исторической критики.

Эта вражда к немцам изображается обыкновенно как особая патриотическая заслуга, хотя, быть может, иногда преувеличенная; но эти преувеличения были настоящей и печальной ошибкой. Дело в том, что пока не исполнились надежды Ломоносова, что русская земля будет рождать собственных Платонов и Невтонов, русские научные силы были до крайности скудны и, в серьезном смысле слова, в те годы ограничивались одним Ломоносовым. Только собственная бедность заставила обращаться к иноземным учителям, и мелочная, грубая война с ними несколько не помогала делу русского просвещения; надо было заботиться только о том, чтобы их ученость шла больше на пользу их русским питомцам и чтобы в русском обществе укреплялось уважение к науке, водворению которого вовсе не помогали упомянутые баталии. А в укреплении уважения к науке такие немцы, как Миллер или Шлёцер, могли бы быть для Ломоносова именно чрезвычайно полезными союзниками, а не врагами, какими он их делал. Из позднейших отзывов, например, Шлёцера, можно видеть, что хотя способ действий Ломоносова и оставил в немецком учёном известное враждебное чувство, но вовсе не помешал признанию его высоких достоинств, на почве которых было бы возможно их совместное действие на пользу русской науки.

Для объяснения этих отношений, где европейское образование встречалось почти впервые лицом к лицу с умственными запросами русского общества, и где в русском обществе в первый раз являлась профессия ученого человека и писателя, надо вспомнить вообще, как относилось это общество к науке и литературе и их представителям. Это отношение было двойственное. С одной стороны, люди, несколько чуткие к умственным

---

\*\*\*\* Между прочим даже просто хозяйственное. Однажды случилось, что Ломоносову «на пропитание» выдано было из Академии, вместо жалованья на 80 рублей книгами. В другой раз мы читаем, что в 1749 году Татищев, желавший, чтобы Ломоносов написал к его истории посвящение вел. кн. Петру Федоровичу, послал ему в подарок 10 рублей: «Он им очень доволен, — писал к Татищеву Шумахер, — и следующий понедельник будет сам благодарить за то» (*Пекарский*. С. 416).

интересам и несколько приготовленные к их уразумению, находили удовольствие в новой литературе, чувствовали почтение к начинавшим появляться русским ученым трудам — в этих трудах виделось отражение, собственный опыт в той науке европейской, о которой много слышали, хотя мало знали и к которой питали инстинктивное, как бы ребячески суеверное уважение. Под влиянием знакомства с европейскими нравами, особенно при посредстве Двора и заезжих иностранцев, и по воспоминаниям о трудах Петра начинали думать, что литература (хотя бы на первый раз в виде торжественной оды и придворного спектакля с русскими пьесами) и наука (хотя бы в виде Академии из иностранцев с двумя, тремя русскими членами, с учеными работами на латинском языке, а иногда и на русском) служат к украшению Двора и даже к национальной славе: приятно было думать, что мы и в этом не уступаем иноземцам, между которыми заняли такое блистательное положение во внешней политике. Эта черта национального самодовольства встретится нам беспрестанно, когда мы будем следить за понятиями тогдашних людей о русской литературе и науке. Очень редко встретится мысль, что литература нужна для общества, масса которого находится в состоянии грубейшего невежества, но гораздо чаще, даже постоянно, встречается самодовольная мысль, что мы сравнялись с Европой, что мы не уступим иностранцам, и так как наша литература ставилась в непосредственную связь с классической и новоевропейской, особенно французской, то достоинства нашей литературы указывались не в какой-либо черте ее внутреннего содержания, а в *сравнении*: писатель, произведши несколько од в искусственном стиле высокопарным языком, был уже готовым Пиндаром; другой, накропавший несколько трагедий в рабском подражании французской драме, считался, и даже простодушно сам считал себя, российским Расином, а кстати и Вольтером; затем нашлись российские Гомеры, Лафонтены и т.д. Цель казалась достигнутой. Самим российским Вольтерам не приходила в голову мысль, что, не говоря о классической литературе, в самой, ближе знакомой, литературе французской, кроме од и трагедий, есть еще нечто другое — есть глубокое научное содержание, есть работа философской и общественной мысли, которая была результатом многовековой истории, и что в конце концов сравнение выходило чистым ребячеством: из этого богатства западной умственной жизни к нам доходили только отдельные отрывки, как эпизод и анекдот, не связанный с нашей собственной историей и потому принимаемый поверхностно и отрывочно... Но в глубине этого общества еще в полной силе была ветхая старина. Как некогда более высокий умственный интерес жил только в небольшом кругу людей, так это было и теперь. Литература и наука, начинавшиеся теперь в соприкосновении с Европой, были еще так новы и школа еще так мало к ним подготовляла, что литература действительно могла казаться «Фруктами и Конфетами на богатый стол по твердых кушаньях» и притом только «на богатый стол», как писал Тредьяковский, а наука должна была казаться, конечно, делом полезным в разных практических случаях, но в существе своем была громадному большинству или совершенно неизвестна, или представлялась пустым умствованием, или, наконец, казалась вещью «душевредительной», как полагал о некоторых науках один из образованнейших людей своего времени — Татищев... Ученые люди были в редкость. Это бывали, например, или такие высокопоставленные духовные лица, как Феофан Прокопович, или иностранцы, которым издавна полагалось быть «хитрыми» в разных науках, или, наконец, такие выученики духовных академий, которые почти исключительно состояли из людей низшего звания, по-тогдашнему «мизерных», которые не могли претендовать на какую-нибудь роль среди людей высшего круга. Это представление в значительной мере, или сполна, было перенесено на новых писателей, которые выступили на сцену в тридцатых и сороковых годах XVIII века. Это делалось само собою. Новые писатели с своими торжественными одами и иным риторическим стихотворством, которое можно было заказывать, прямо сменяли прежних академических школьников, и в высших кругах думали, что их можно ставить на одну доску: нередко их и действительно можно было ставить на одну доску. Таким образом, в то самое время, когда новые писатели воображали себя российскими Расинами и Вольтерами, в высшем

кругу, где все-таки собиралось некоторое образование, на них смотрели весьма пренебрежительно, как на людей, занимающихся пустяками. В противоположность этому сами писатели были о себе очень высокого мнения, и справедливо замечено было, что, например, самохвальство Сумарокова, которое бросается в глаза своей безмерностью, могло быть не излишним для того, чтобы указывать невеждам достоинство литературы и литературного труда. Тем не менее, известно, что хотя Сумароков был старый дворянин и довольно чиновный человек, а Ломоносов был ученый академик, уважаемый и при Дворе, такой меценат, как Шувалов, находил, как говорят, потеху в том, чтобы стравливать их между собой в роли домашних шутов, какие тогда были в моде. Известное меценатство XVIII века, которое, впрочем, не было на деле особенно щедро и поощряло только писание торжественных од, к чему и находило множество охотников, не свидетельствовало, конечно, о высоком уровне литературы. Рядом с этим меценатством возможны были и такие факты, как гнусное избиение Тредьяковского Волынским<sup>16</sup>. Заметим впрочем, что этот последний случай указывает не только приниженное состояние литературы, но вообще страшную грубость нравов того века. Волынский был человек необузданный и бил не только таких незначительных людей, как Тредьяковский\*. Так было при Анне Ивановне; но так же бывало и при Елизавете. Известный Порошин в своих записках передает (под 1764 годом) рассказы Никиты Ивановича Панина об одном генерале, который между прочими «рассуждал, какие недотыки ныне люди стали, нельзя выбранить, а бывало-де палочьем дуют, дуют, да и слова сказать не смеешь»; а гр. Чернышев<sup>17</sup> передавал, «в какой чрезвычайной силе был тогда (при императрице Елизавете) граф Алексей Григорьевич<sup>18</sup>; граф Петр Иванович Шувалов всегда ездил с ним в Москве на охоту, и гр. Мавра Егоровна<sup>19</sup> молебны пела по возвращении их, что Петр Иванович батожьем от него не сечен. Алексей Григорьевич весьма беспокоен бывал пьяный»\*\*. Неудивительно, что при таких обычаях и Ломоносов мог возыметь желание «поправлять зубы» своим немецким коллегам... Но если тогдашнее меценатство важных господ сопровождалось унижением писателей, то и между ними находились люди, которые именно во имя своего литературного значения держали себя весьма независимо. Таков был, например, Сумароков, который воевал даже с московским главнокомандующим<sup>20</sup>; таков был и Ломоносов, и у него эта независимость была еще тем более замечательна, что он был человек, по-тогдашнему, «подлого рода», чем попрекал его даже Тредьяковский. Много раз цитировано было знаменитое письмо его к Шувалову (в январе 1761), который хотел мирить его с Сумароковым. Несмотря на все почтение, какое имел он к своему покровителю, Ломоносов читает ему серьезный урок: «Никто в жизни меня больше не избил, как Ваше высокопревосходительство. Призвали Вы меня сегодня к себе. Я думал, может быть, какое-нибудь обрадование будет по моим справедливым прошениям... Вдруг слышу: помирись с Сумароковым! т. е. сделай смех и позор!.. Свяжись с тем человеком, который ничего другого не говорит, как только всех бранит, себя хвалит и бедное свое рифмачество выше всего человеческого знания ставит... Не хотя Вас оскорбить отказом при многих кавалерах, показал я Вам послушание... Ваше

---

\* Гр. Салтыков предостерегал однажды Волынского об его самоуправстве: «Я ведаю, что друзей Вам почти нет, и никто с добродетелью об имени Вашем и упомянуть не хочет. На кого осердишься, велишь бить при себе и сам из своих рук бьешь: что в том хорошего? Всех на себя озлобишь». Впоследствии, когда совершался суд над Волынским по делу Тредьяковского, его винили не в том, что он бил Тредьяковского, а в том, что бил его во дворце, в покоях Бирона, «и тем оказал неуважение к государыне, а ему, владетельному герцогу, нанес чувствительную обиду, уже известную и при иностранных Дворах».

\*\* Прибавим еще одну черту нравов тогдашнего высшего общества. «После стола, — рассказывает опять Порошин, — разговорились о временах при покойной государыне императрице. Никита Иванович рассказывал о банках, которые граф Алексей Григорьевич Разумовский делывал и народно проигрывал; как у него Настасья Михайловна<sup>22</sup> и другие из банку крадывали деньги и после щедрость его в надлежащем месте выхваливали, да не только такие Настасьи Михайловны, но и люди совсем безважные притом пользовались. За князем Иваном Васильевичем<sup>23</sup> один раз подметили, что тысячи полторы в шляпе перетаскал и в сенях отдавал слуге своему» («Записки». СПб., 1844. С. 69-72).

высокопревосходительство, имея ныне случай служить Отечеству спомоществованием в науках, можете лучшие дела производить, нежели меня мирить с Сумароковыми. Зла ему не желаю. Мстить за обиды и не думаю... А с таким человеком обхождения иметь не могу и не хочу, который все прочие знания позорит, которых и духу не смыслит... Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет»<sup>\*</sup>.

Кроме этой внешней бесправности литературы была еще более глубокая бесправность внутренняя. Под новыми европейскими влияниями, которые хотя медленно, но постоянно расширялись, должно было возникать представление об известном самостоятельном значении литературы: ее содержание должно было представлять самостоятельную мысль человека ученого и самостоятельное произведение поэта. К этому представлению могли приходить уже те, кто еще в конце XVII века схоластически знакомился с классической литературой древних; тем больше это представление должно было распространяться теперь, когда возрастало знакомство с литературами европейскими. Действительно, на первых шагах нашей новой литературы, питомец Академической Гимназии и Феофана, Кантемир, с одной стороны, переводит книгу Фонтенеля<sup>24</sup> «О множестве миров», представлявшую свободное научное мнение о вопросах, которые считались в понятиях громадного большинства подлежащими исключительному ведению богословия, а с другой, является сатириком, то есть в качестве поэта свободным наблюдателем и судьей недостатков общественной жизни, в том числе недостатков официального учительного сословия. Вы видели, что эти опыты были поддержаны литературными нововведениями Петра, научными изданиями его времени, с одной стороны, и «Духовным Регламентом», с другой: сам Петр, конечно, в известных пределах, но несравненно шире, чем было когда-нибудь прежде, смотрел на право науки объяснять явления природы и истории и специально не любил представителей старого учительного сословия, как заведомых обскурантов, и это послужило тогда сильной опорой для тех, чья мысль направлялась в область научных исследований. Но уже на этом первом примере, на трудах Кантемира и даже раньше на самых книгах Петровского времени оказалось, что не так легко миновать исторический разлад, какой заключался в отношениях нового направления с прежним. В сущности, здесь встречались уже два совершенно противоположных мировоззрения. Старина даже не помышляла о возможности возыметь какую-нибудь мысль о природе, о судьбах мира и человека вне Писания и отеческих творении или, по крайней мере, вне схоластического богословия; она не имела также понятия о каком-либо праве личной поэзии, кроме разве торжественного стихотворства. Противоречие сказалось и на деле: перевод Фонтенеля был напечатан, но впоследствии подвергся запрещению; сатиры Кантемира напечатаны были лет через двадцать по смерти писателя и когда успели сильно постареть и по содержанию, и особенно по языку. Книги Петровского времени, как мы видели, вызвали тогда же отчаянные изобличения, которые писались Аврамовым<sup>25</sup>, но представляли взгляд целого круга заклятых противников реформы и защитников доброго старого неведения: по их убеждению, как и следовало ожидать, новые учения были непосредственным делом исконного врага человеческого рода, дьявола... Несчастный Аврамов еще жил, когда была в полном разгаре деятельность Ломоносова: если бы он мог вполне развить свои протесты, то к обличениям Коперника, Гюенса<sup>26</sup>, Фонтенеля и Феофана Прокоповича мог бы присоединить и обличения Ломоносова. Как увидим, нашлись, однако, другие люди, которые это и исполнили...

В своем введении к «Истории Академии Наук» Пекарский остановился, между прочим, на этой трудности, с которой должна была, так или иначе, встретиться ученая деятельность Академии; он назвал этот отдел так: «О затруднениях, встречающихся в старину для представителей некоторых наук в Академии, высказывать добытые ими ис-

---

<sup>\*</sup> Пекарский. Т. II С. 718-719.

тины в современном обществе». В действительности, этих «некоторых» наук было очень много, и если «затруднения», то есть формальные обвинения в нечестии и колебании законов, встречались не на каждом шагу, то лишь потому, что академические ученые заняты были обыкновенно специальными, даже чисто техническими вопросами и очень редко касались общих оснований науки и даже прямо этого избегали, чувствуя, что «в современном обществе», слишком невежественном, это было немыслимо и опасно, и, пожалуй, бесполезно... .

Когда при первом вызове иностранных ученых в предположенную Академию, между прочим, усиленно приглашали Христиана Вольфа, знаменитый философ в числе всяких отговорок (климат, другая пища и пр.) упомянул, наконец, следующее, очевидно, самое существенное (в 1722): «Кроме того, еще один главный вопрос: должен ли я приниматься за осуществление моих мыслей касательно наук *только в той степени*, в какой будет это угодно *современным русским*? В таком случае я, может быть, буду вынужден оставить без осуществления то, что здесь, в настоящем моем положении, осуществил бы»... Его уверяли из России, что Петербург, в отношении просвещения, не уступит никакому германскому городу (!), но Вольф в конце концов уклонился от приглашения... В Петербургской Академии процветала безобидная математика, но речь Делиля, в которой утвердительно решался вопрос, вертится Земля или нет, нашли в 1728 невозможным напечатать по-русски. Книга Фонтенеля, в переводе Кантемира, могла быть напечатана только с разрешения высшего начальства, но потом все-таки подверглась запрещению. Как увидим, с подобными «затруднениями», касавшимися, очевидно, самого существа и возможности науки, пришлось ведаться и Ломоносову.

Далее, если не легко было управиться с вопросами о природе и миротворении, то на целые десятки лет утвердилось в официальном кругу, между прочим в высшем управлении самой Академии, представление, что известные истины, добываемые научными исследованиями, составляют государственную тайну. «Так, — замечает Пекарский, — обвинения астронома Делиля в сообщении за границу астрономических наблюдений доходили даже до Сената (!), а между тем известно\*, что достоверность и полезность подобных наблюдений получается именно чрез сравнение того, что наблюдаемо астрономами в разных землях». Между прочим, такие затруднения делали и такие лица, которые по самому своему положению должны были бы содействовать ученым исследованиям, а именно сам тогдашний президент Академии, барон Корф, тот самый, которого Тредьяковский изображал в «мудрых мудрой, в ученых ученой, в достойных достойной Особой». Эта Особа рассудила, что «не без опасности есть, ежели что в Российском государстве какие описания или известия учинятся, а в иностранные государства чрез никакие виды произнесутся, а о том еще не опубликовано, о чем и указами запрещается», а потому президент Академии приказал «в государственную Иностранных Дел, в Военную, Адмиралтейскую и Коммерц-Коллегии и в Канцелярию Главной артиллерии и фортификации и от строений послать промемории», чтобы из этих коллегий и канцелярий, «какие в которой имеются, а именно разные провинциальные описания, известия, книги, ландкарты и прочее, по вопросам Академии Наук профессорам и адъюнктам ни под каким видом отпущены бы не были, разве по письменному требованию Академии Наук из Канцелярии».

По вероятному предположению Пекарского, известный ученый Байер<sup>27</sup> (первый начинатель норманской теории происхождения Руси), изучавший, между прочим, и китайский язык, не хотел тратить времени на изучение русского языка, потому что, потратив на это время, «не мог быть уверен в том, чтобы это знание когда-нибудь ему пригодилось, так как занятие в те времена русскою историею для русских сопряжено было не только с трудностями, но и опасностями». Но Байер убедил заняться изучением русского языка Миллера, тогда еще молодого человека, и известно, какую тревогу

---

\* Это указывал сам Делиль в объяснениях Сенату против обвинений Шумахера.

возбудила речь, предположенная Миллером для произнесения в торжественном Собрании Академии под названием «Происхождение народа и имею российского»: Миллер едва не был обвинен в политическом преступлении. К сожалению, в этих обвинениях против Миллера принял участие и Ломоносов, который всю свою жизнь относился к нему крайне враждебно, считая его недостаточным патриотом\*. Он утверждал что в каждом произведении Миллера «множество пустоши и нередко досадительной и для России предосудительной»; везде он «всеваает по обычаю своему, занозливые речи» и «больше всего высматривает пятна на одежде российского тела, проходя многие истинные ее украшения». Ломоносову не нравилось и то, что Миллер занимался исследованиями о «смутных временах Годунова и Расстриги — самой мрачной части российской истории». В 1761 году Ломоносов собрал эти обвинения в особой статье, посланной им к президенту Академии, а может быть, и к другим лицам и, вероятно, не без связи с этим Миллер вскоре после того получил «жестокий выговор» от высшего правительства за «некоторые в его сочинениях о российской истории находящиеся непристойности». Миллеру оставалось прервать свои занятия русской историей. Раньше ему подобным образом пришлось отказаться от своих планов издавать старые летописи и другие материалы по русской истории: ему возражали, что для такого издания необходимо «очистить» летописи от «басней» (то есть лишить их всякого исторического смысла), а кроме того, замечали, что в старых известиях говорится, между прочим, о делах государственных, а их следует ведать только министрам и Сенату. Был с ним и другой случай. В 1746 году он дал известному собирателю сведений о Петре Великом, Крекшину<sup>28</sup>, рукопись с своими выписками из иностранных писателей о России, другими словами, сделал большое одолжение человеку, давши ему результаты своего собственного труда. Отсюда произошло следующее. «Крекшин, когда услышал, что Миллер дал неодобрительный отзыв о составленном им родословии великих князей, царей и императоров, захотел отомстить ему, а потому донес Сенату, что академик в одной из своих рукописей делает выписки, унижительные для русских великих князей. Дело рассматривалось, по распоряжению Сената, в Академии Наук, и назначенная там комиссия оправдала Миллера, почему Крекшин намеревался уличить в государственном преступлении и его, и членов комиссии, однако дело в Сенате было оставлено без последствий»\*\*.

Указанные здесь факты относятся к периоду от двадцатых до шестидесятых годов XVIII века; подобное этому повторялось и после, — в несколько измененной форме переходя и в XIX столетие. «Факты этого рода между прочим являются весьма осязательным опровержением и доньше повторяющихся утверждений о том, как «петербургский период» оторвался от старых преданий и бросился навстречу чужим нравам и образованию. В другом месте мы собрали указания о том, как, напротив, тесно связан был XVIII век с XVII, как отголоски последнего беспрестанно отзывались и в жизни, и в литературе и как, с другой стороны, нововведения, которые мы привыкли ставить на счет исключительно XVIII веку, на деле имели свой корень еще в старине допетровской... Так и здесь, не требует особых объяснений, что «затруднения, встречавшиеся (по выражению Пекарского) в старину для представителей некоторых наук, высказывать добытые ими истины в современном обществе», были вполне предани-

---

\* Миллер уже принял тогда российское подданство.

\*\* Ср.: *Пекарский*. Ист[ория] Акад[емии] Наук. Т. I. С. LXIII и далее, 343, 380 и др. Между прочим, чрезмерно характерно заключение Синода, к которому Сенат препроводил упомянутое предположение Академии об издании летописей: «Рассуждаемо было (в Синоде), что в Академии затевают истории печатать, в чем бумагу и прочий кошт терять будут напрасно, понеже во оных писаны лжи явственные... отчего в народе может произойти не без соблазна... А из приложенного для апробации видится, что их будет не мало; к тому же иное и висеть в них не должно. И если напечатаны, чтобы были многие в покупке того охотники, безнадежно, понеже и штиль един воспящать будет. А хотя бы некоторые к покупке охоту и возымели, то первому тому покупке учиня, до последующих весьма не приступят. Того ради не безопасно, дабы не принеслось от того казенному капиталу какова ущерба». Последнее, пожалуй, могло бы быть не забота Синода.



ем XVII века и живым олицетворением этих преданий был тогда Аврамов, представлявший собою целый обширный стан озлобленных или наивных, обскурантов. Очевидно, на почве того же старого предания стояли и упомянутые официальные (разных ведомств) противники академического плана издания летописей. Крайняя недоверчивость и подозрительность к тому, как бы не явились в печати, особливо иностранной, какие-нибудь сведения о России, которые не «опубликованы» (а опубликовать не торопились), даже безразличные сведения исторические, географические, наконец, и астрономические; серьезные рассуждения об этом в Сенате и Синоде; распоряжения самого президента Академии, чтобы без разрешения «Канцелярии» не выдавались из других ведомств никакие «описания» даже самим академикам, — все это было прямым продолжением приказной опасливости московских времен, когда страшно боялись, чтобы иностранцы не узнали чего-нибудь о России, когда окружали строгим надзором иностранные посольства и т. п. Семнадцатый век еще не имел таких ученых затей, как перевод книги Фонтенеля, как издание летописей или «описаний» и т. п., но несомненно, что старые московские приказы или патриарх Иоаким отнеслись бы к этим вещам совершенно так же, как Сенат и Синод и президент Академии середины прошлого века, или, наоборот, последние поступали так же, как их предшественники московских времен.

В таком смутном состоянии понятий начиналась деятельность Ломоносова. Это был первый настоящий ученый человек в области естествознания, явившийся в русском обществе, — ученый, для которого наука была не одной технической выучкой, не отрывочным специальным знанием, беззаботным о логическом развитии своих оснований, а напротив, знанием, освещенным философской мыслью, которое становилось поэтому целым мировоззрением. Именно в этом смысле он первый вносил в умственную жизнь русского общества и в русскую литературу великое благотворное начало, которое одно могло стать основой дальнейшего здорового развития и в той же области знания, и в области самой поэзии, — начало сознательной работы мысли, которая уже тем самым становилась любовью к просвещению и стремлением служить этим просвещением своему обществу и народу. Не виной самого Ломоносова было то, что, как сожалеют его историки, он не имел достойных учеников, что его труд не нашел непосредственных достойных подражателей: эти первые шаги русской науки, как мы видели, были обставлены такими дикими условиями, что это одно достаточно объясняет, почему не явилось такого продолжения\*. Но деятельность Ломоносова имела, несомненно, свое более широкое продолжение: она осталась великим заветом, нравственным и умственным возбуждением для дальнейших деятелей, и история, разъясняя сложные и часто не видные простому глазу пути развития, найдет в позднейших проявлениях умственной и общественной жизни продолжение той самой идеи, которой некогда служил Ломоносов. Деятельность его бросала свет научного сознания на то реальное, но иногда еще слишком внешнее, инстинктивное преобразование, какое совершено было Петром Великим: оно было, без сомнения, первой необходимой основой для его собственного труда; оно было первой ступенью для науки, как и для новой государственной жизни России, — Ломоносов глубже, чем кто-нибудь прежде, сознавал это, и отсюда его безграничное поклонение памяти Петра Великого. Ломоносов не усумнился называть Петра творцом России, божеством ее — и делал это, конечно, не в одном только риторическом порыве: он был в этом убежден. Великое значение Петра состояло для него не в том только, что он возвысил Россию как государство, но, быть может, еще более в том, что он открыл для русского народа ту область науки, с помощью которой человек только и может достигнуть

---

\* Указывают, правда, что толчок, данный Ломоносовым, произвел потом целый ряд замечательных естествоиспытателей, как, например, Румовский, Иноходцев, Лепехин, Озерецковский<sup>29</sup>, Севергин<sup>30-31</sup> и др. (Будилович А. Ломоносов как натуралист и филолог. С. 60-61); но эти ученые отчасти образовались в другой школе, а с другой стороны, ни один из них не отличался тою широкою научною мировоззрением, какую мы видим в Ломоносове.

высоты своего умственного и нравственного достоинства. Это возвышенное представление о науке в первый раз было высказано на русском языке Ломоносовым, и в этом была основная господствующая черта того нового мировоззрения, которое должно было стать содержанием нового периода умственной жизни русского общества: с этим наступал последний конец наших средних веков.

Что мысль Ломоносова в области науки не ограничивалась его специальными исследованиями в химии, физике, металлургии и пр[очем], можно заключать из самого склада его ума, который постоянно искал общих оснований; это доказывается планами его работ, которые стали известны теперь по его бумагам: его многие годы занимала система натуральной философии, которой ему не удалось закончить; наконец, он несколько раз возвращается к вопросу о науке в своих академических речах: частный предмет, о котором он говорил, не однажды побуждал его обращаться к великим трудам и задачам целого человеческого знания. Слушатели, к которым он обращался, представляли ту странную и пеструю среду, какую вообще было общество середины XVIII века: несколько ученых людей из сотоварищей по Академии (иногда по своему «иностранству» и не понимавших его русской речи), а главное, люди из высшего и среднего круга — в большинстве с крайне поверхностным образованием, для которых подобные рассуждения были делом совершенно новым и тем более нужным, что между ними было, без сомнения, немало людей не весьма расположенных к этим новым наукам.

Речи Ломоносова очень замечательны и по своему чисто литературному достоинству, как опыт общедоступного изложения серьезных научных предметов, остающегося, однако, на высоте научного достоинства. Надо представить себе указанный характер его слушателей, то есть общий уровень тогдашней публики, чтобы оценить, как были тогда новы мысли Ломоносова о науке и как была мужественна защита ее достоинств: он снисходит к понятиям своих слушателей, но и требует от них великого почтения к трудам людей, соорудивших здание науки. <...>

<...> Защита науки против суеверов и невежд, считавших ее противною вере, постоянно занимала Ломоносова и занимала справедливо, потому что предубеждение и вражда распространены были не только в невежественной массе, для которой, например, физическая наука была каким-то покушением открывать вещи, закрытые от людей самим Богом, но и в кругу, который считался, образованным: многие действительно с злорадством говорили о смерти Рихмана, как справедливой казни за такое покушение. Ломоносов, без сомнения, нередко слышал вокруг себя подобные враждебные отзывы невежества, которые могли грозить, наконец, самому существованию науки. Он не оставлял их без отпора, и, как упомянем, один пример шутовой полемики с его стороны стал даже предметом официального разбирательства и жалобы Св[ятейшего] Синода. К этому предмету Ломоносов возвратился и в статье «Явление Венеры на Солнце» (1761). Описание ученого наблюдения не могло обойтись без объяснения того, что эти наблюдения не представляют ничего богопротивного. <...>

Все эти мысли о достоинстве и необходимости науки, защита ее против неразумия и невежества, в высокой степени важны именно тем, что они в первый раз были сказаны на русском языке. В действительности, и в его время, и долго потом, и даже до нашего времени в русском обществе не обеспечено это достоинство науки и не имеет полноправности то «свободное философствование», которое он считал основанием новейшей науки; но самое понятие, продуманное русским умом и высказанное в литературе, составляет исторический факт высокого значения: этим был ознаменован переход к новому мировоззрению.

Ломоносов был ум первостепенной силы; потому он и мог возыметь эти мысли, вполне отвечавшие тогдашнему состоянию научных взглядов. Биографы спорили о том, насколько он принял или самостоятельно видоизменил общие философские взгляды своего марбургского учителя; для нашего вопроса это довольно безразлично, — важно только то, что Ломоносов знал все основные учения тогдашней натуральной философии;

он знал и окружал высоким почтением имена Декарта, Ньютона, Гассенди<sup>32</sup>, Гугения (Гюенса, по Аврамову) и т. д. и стоял на уровне тогдашнего «свободного философствования». Естественно ожидать, что эта высота мысли не будет понята в том состоянии общества, какое было у нас в половине прошлого столетия, и действительно, с одной стороны, мы видим, что хотя в то время высоко ценили Ломоносова по разнообразию его познаний, по ученой славе, признанной и европейскими авторитетами, но это уважение было не сознательным пониманием его труда, а только инстинктивным почтением наивного невежества к мудреному знанию, уважение, похожее на то, каким в средние века окружали алхимиков или простой народ — знахарей и колдунов\*. С другой стороны, мы видим, что не только в то время, но и долго после в Ломоносове гораздо больше ценили не ученого, полагавшего, как мы видели, основание целого научного мировоззрения, а стихотворца, автора торжественных од, которые были событием в свое время и остались предметом восхищения для потомства, до Мерзлякова включительно.

В самом деле, в свое время оды Ломоносова были событием. Новейшие исследования утверждают, что известный рассказ о необыкновенном впечатлении, какое произвела ода «На взятие Хотина», присланная Ломоносовым из-за границы, был легендой; но, как нередко бывает, легенда, образовавшаяся позднее, отвечала если не факту данного времени, то позднему взгляду на писателя. Об «лире» Ломоносова современники имели весьма высокое представление. В сороковых и пятидесятых годах прошлого столетия все действующие писатели были налицо; их было немного, в сущности, всего трое. Нечего говорить, что Ломоносов не мог быть сравним с Тредьяковским: Сумароков, сначала бывший в мирных отношениях с Ломоносовым, но под конец страшно с ним враждовавший, признавал, однако, что Ломоносов так далек от Тредьяковского, как «Небо от ада»; но Ломоносов, несомненно, превышал и самого русского Вольтера, и хотя последний также имел, как мы видели, горячих поклонников и в своих творениях был гораздо разнообразнее Ломоносова и доступнее для толпы, но, в конце концов, Ломоносов, вероятно, и тогда ставился большинством выше его и именно в литературном отношении. Это было довольно понятно: ученые сочинения Ломоносова были слишком серьезны и не представляли литературного интереса; этого интереса искали в его одах, и в них при общей риторической высокопарности чувствовалась большая глубина и сила мысли. Позднейшая художественная критика усомнилась в поэтическом даровании Ломоносова и ставила его в ряд стихотворцев-риторов, какими так богат был XVIII век; находила у него не только избыток риторики, но и избыток лести, когда он безразлично воспевал и Анну Ивановну, и принцессу Анну, и затем подряд Ивана Антоновича, Елизавету, Петра III и Екатерину; даже с огорчением упрекала его за прямое восхваление рабства\*\*.

---

\* В 1865 году, один почитатель памяти Ломоносова желал собрать на его родине, в селении Матигорах, предания какие могли сохраниться о нем среди проживавших еще потомков его рода; но местные жители, «к сожалению, не только не сообщили никаких сведений о Ломоносове, но даже не могли себе дать отчета, что он был за человек, чем занимался и чем прославился; знают только то, что он из крестьян сделался большим барином. Впрочем, некоторые из присутствующих заподозрили его в колдовстве; говорили, что он, как и все колдуны, разводил тучи. Однажды, когда над Петербургом нависла грозная туча, императрица Екатерина II приказала Ломоносову отвести эту тучу. Ломоносов долго отказывался, что это-де не по силам его; наконец, послушался. Как только стал отводить тучу, разразилась гроза и убила его» (*Пекарский. 1. II. С. 890. Из «Архангельских губ[ернских] ведомостей»*, 1868).

\*\* Напр[имер], в надписи для иллюминации в день рождения императрицы Елизаветы:

Пусть мнимая других свобода угнетает,

Нас рабство под твоей державой возвышает.

Об этом последнем Пекарский замечает, однако, что авторство этих стихов может не принадлежать Ломоносову, так как в царствование Елизаветы обыкновенным поставщиком подобных надписей бывал Штелин, и Ломоносов обязывался только перелагать его произведения в русские стихи (*История Академии Наук. Т. II. С. 374-375*).

Для правильного суждения о поэтическом творчестве Ломоносова, его содержании и манере, необходимо, разумеется, дать себе отчет в свойствах его дарования и не забывать условия времени. Он не был поэтом в обычном смысле этого слова: он не был лириком, который изображает движения личного чувства, он не был поэтом, который представляет в живых образах общество своего времени, у него не было к тому ни влечения, ни достаточной силы фантазии — и литературе нужно было еще много опыта, чтобы достигнуть этой формы творчества; но он, несомненно, был поэтом в той дидактической манере, которая была так распространена во всей литературе XVIII века, поэт рефлексии и поучения. И в этой области был только известный разряд предметов, которые волновали его поэтическое чувство: это были картины великих явлений природы, великие дела и задачи науки, славные события современной истории Отечества и здесь превыше всего деяния Петра Великого, наконец, стремления и мечты о славном процветании Отечества в будущем. Когда в его одах речь касалась этих любимых тем, у него являлось истинное поэтическое одушевление, и оно высказывалось сильным и выразительным языком, которым он, несомненно, предварил Державина. Не будем приводить примеров, которые достаточно известны даже по хрестоматиям. Нет спора, что здесь нашла большую долю и риторика, но это не была его личная особенность, а общая манера века. По всем условиям времени ода явилась в той форме, которая прежде всего могла найти место в литературе, и как исполнение той служебной роли, какую заняла новая литература со времен Симеона Полоцкого, и как результат подражания иностранным образцам, где она также была сильно распространена, и, наконец, как форма, наиболее доступная младенческому обществу. Крайности были замечаемы уже современниками, и, например, Сумароков в его «вздорных одах»<sup>33</sup> довольно удачно пародировал многие напыщенные обороты Ломоносова; но последний, вероятно, не чувствовал этой крайности: его фантазия требовала образов грандиозных\*. Что касается упрека, что его лира была слишком податлива на восхваления, это опять черта века, которая не может быть отнесена только к его личному вкусу и выбору: во-первых, оды часто прямо заказывались и были исполнением официального поручения, а во-вторых, Ломоносов был безусловный патриот, для которого всякая данная власть была предметом почтения, и к ней направлялись его ожидания и надежды для Отечества. Мы упоминали, как этот патриотизм приводил его к поступкам не только грубым, но и несправедливым, когда он считал необходимым вступаться за честь и пользу России, которым, по его мнению, наносили ущерб его противники из немецких академиков; он с гордостью указывал им, что он — «природный русский»; во всех своих академических планах он настаивал на том, чтобы содействовать процветанию «Петрова насаждения»; в заметках, которые только в последнее время извлечены из его бумаг, остался след его постоянных размышлений о том, как должны науки содействовать пользам русского государства и т. д., — понятно, что в оде, где он обращался и к лицам, окружающим престол, и к массе читателей, те же мысли должны были высказываться у него тем с большим жаром и получать иной раз преувеличенное выражение. Его оды ни в каком случае не были пустою лестью; иногда это были или прямые указания на то, что нужно для России, или воспоминания о Петре Великом, в котором он неизменно указывал идеал и образец.

Только изредка он обращался в своих стихотворных произведениях к шутке и эпиграмме. Таков в особенности известный «Гимн бороде», в котором сказалась нетерпеливая вражда к обскурантизму. Шутка попала в цель, и Ломоносов вызвал против себя ожесточенные нападения, причем Тредьяковский считал полезным подобных авторов сжигать «в струбах», как это практиковалось некогда в старину, а Синод подал на Ломоносова особенную жалобу на высочайшее имя, которая, впрочем, оставлена была без последствий.

---

\* Любопытно, что самое слово «высокопарный» (т. е. высоко парящий) в употреблении Ломоносова не имеет своего нынешнего значения в смысле излишества, а значит только: важный, возвышенный.

Как другие начинатели новой русской литературы, так и Ломоносов считал нужным трудиться в самых разнообразных формах поэзии. Кроме всякого рода опытов риторической лирики, он оставил неконченный эпос «Петриаду»; по заказу императрицы Елизаветы писал трагедии; наконец, хотел быть теоретиком языка и словесности, и историком. В русской историографии он не оставил серьезного труда: от него, как от славного ученого, желали иметь книгу по русской истории, которая нужна была и как цельное изложение, которого не было, и вместе, вероятно, как своего рода панегирик; сам Ломоносов, как это очевидно из его полемики против Миллера, полагал, что история должна быть изложением славных дел российских государей, служить к возвышению российского народа и должна избегать событий, изложение которых могло бы вести к умалению этой славы. Очевидно, это не было строго критическое отношение к предмету, какое, однако, было и в ту минуту совершенно необходимо, потому что только этим путем возможно было не только установить правильно оценку фактов, но и определить самое свойство источников; Ломоносов и его друзья могли достигнуть только первоначальной популярной цели; впрочем, труд Ломоносова обнимает только древнейшие века русской истории.

Гораздо важнее были его труды по русскому языку, как теоретические — в его работах по грамматике и риторике, так и практические — в языке его собственных произведений. Его филологические сочинения были уже не однажды подробно разбираемы\*. Ломоносов еще близко примыкает к своим предшественникам, именно даже к Мелетию Смотрицкому, но он, с одной стороны, знаком с постановкой грамматического вопроса в новых «всеобщих грамматиках», а с другой — живое чувство языка и точные детальные исследования указывают ему много таких сторон книжной и народной речи, которые не были замечаемы его предшественниками. Как вообще ученые предприятия его остались далеко недовершенными, так в особенности надо сожалеть, что не были довершены его работы по языку. Из его бумаг гораздо больше, чем из его напечатанной грамматики, мы видим широту намеченных им планов, которые для своего времени были поистине замечательны. Любопытно в самом деле, что он путем сравнения слов приходит к заключению, что языки русский, греческий, латинский и немецкий «сродственны» между собою; но «в значительную долготу времени» языки изменяются, и чем давнее один язык отделяется от другого, тем разница между ними больше. От славянского корня произошли, по его словам: российский, польский, болгарский, сербский, чешский, словацкий, вендский<sup>34</sup>; и он угадывал деление славянских наречий на две их главные ветви. Вообще он догадывался, что язык развивается по известным законам: «как все вещи от начала в малом количестве начинаются и потом присовокуплениями возрастают, так и слово человеческое, по мере известных человеку понятий, в начале было тесно ограничено и одними простыми предложениями довольствовалося. Но с приращением понятий и само (слово) помалу умножилось», то есть ему представлялась уже развитая позднее мысль об истории языка. Что касается русского языка, то справедливо замечено было, что никто в то время, даже до Карамзина и Пушкина, не владел в такой мере непосредственным знанием русского народного языка, как Ломоносов. В своей академической записке о трудах Шлёцера (1764) Ломоносов противопоставляет ему «природных российских ученых» и между прочим одного (то есть самого себя), «который с малолетства спознал общей российской и славенской языки, а достигши совершенного возраста, с прилежанием прочел почти все древним славено-моравским языком сочиненные и в церкви употребительные книги. Сверх сего довольно знает все провинциальные диалекты здешней империи, также слова, употребляемые при Дворе, между духовенством и между простым народом, разумея притом польской и другие с

---

\* Так это было сделано еще в книге г. Буслаева «О преподавании отечественного языка» (М., 1844); затем в диссертации Константина Аксакова о Ломоносове (М., 1846); в последнее время состав грамматики Ломоносова был довольно подробно определен в сочинении г. Будиловича.

русским сродные языки»<sup>\*\*</sup>. Любопытно, что здесь он указывает различие древнего русского языка от древнего «моравского», на который, по его мнению, было переведено Священное Писание. Как во всякой начинающейся литературе, в то время шли ожесточенные споры о литературном языке (и в особенности об отношениях церковнославянского и народно-русского элемента), а также о правописании; мнения нередко путались, так что иногда защитник народного элемента (как Тредьяковский) становился опять его противником, и Сумароков не однажды попрекал Ломоносова в неправильности языка, в который он будто бы вставлял холмогорское наречие, тогда как Сумароков гордился тем, что был москвитянином; тем не менее Ломоносов, без сомнения, гораздо шире всех своих современников понимал состав русского языка и отношения его элементов. Главный материал для русского литературного языка должен был доставить язык народный, который, по мнению Ломоносова, распадался на три главные диалекта: московский, северный или поморский, украинский или малороссийский: «московский диалект главный и при Дворе и дворянстве употребительный, а особливо в городах, близ Москвы лежащих... Поморский несколько склонен ближе к старому славянскому и великую часть России занял... Малороссийский больше всех отличен и смешен с польским». Он был знаком со всеми этими диалектами на родине, в Москве и в Киеве. Московское наречие он предпочитал как по важности столичного города, так и по его «отменной красоте», но думал, что в образовании литературного языка должны иметь долю и другие наречия, и должны только подчиняться высшему авторитету языка славянского. Его отношение к церковнославянскому языку было вполне сознательное; он ценил его как историческую основу русского языка: на нем создалась богатая литература по греческим образцам, и в этом отношении он стоял выше русского народного языка, который поэтому мог делать из него заимствования как из привычного источника. Поэтому славянский язык занял место в известном распределении трех родов стиля, а именно, язык славянский . мог служить в особенности для стиля высокого.

Мы говорили в другом месте о значении того переворота, который совершился в русском литературном языке в эпоху реформы, и о том, какое значение имела при этом деятельность Ломоносова<sup>\*</sup>. Не повторяя сказанного, укажем еще высокое представление, какое имел Ломоносов о русском языке. Еще в 1739 году Ломоносов писал: «Я не могу довольно о том нарадоваться, что российский наш язык не токмо бодростию и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобную оным, а себе купно природную и свойственную версификацию иметь может». В посвящении «Российской Грамматики» в[еликому] кн[язю] Павлу Петровичу Ломоносов писал (1755): «Карл Пятый, римский император, говаривал, что испанским языком с Богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Обстоятельное всего сего доказательство требует другого места и случая. Меня долговременное в российском слове упражнение о том совершенно уверяет. Сильное красноречие Цицероново, великолепная Virгилева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем. Кто отчасти далее в нем углубляется, употребляя предводителем общее философское понятие

---

<sup>\*\*</sup> Билярский. С. 603-604.

<sup>\*</sup> [Пыпин А. И.] История русской этнографии. Т. 1. [СПб., тип. М. Стасюлевича, 1890].

о человеческом слове, тот увидит безмерно широкое поле, или лучше сказать, едва пределы имеющее море».

Невольно вспоминаются другие восторженные слова, сказанные новейшим тонким мастером русского языка — слова Тургенева в «Стихотворениях в прозе»<sup>35</sup>.

## КОММЕНТАРИИ

Вестник Европы. 1895. № 3. С. 295-342; № 4. С. 689-732.

Пыпин Александр Николаевич (1833-1904), литературовед, академик Императорской Академии Наук.

<sup>1</sup>Монс Виллим Иванович (1688—1724), брат фаворитки Петра I, камер-юнкер Двора царицы Екатерины Алексеевны; некоторые его лирические стихи на русском и немецком языках, обращенные к Екатерине Алексеевне и сохранившиеся в делах Тайной Канцелярии, были опубликованы в XIX в. Семевским (см.: Семевский М. И. Царица Екатерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс. 1672-1724. М., Пресса, 1994. С. 135, 251-252, 323-324). Казнен по доносу за взяточничество в 1724 г.

<sup>2</sup>Столетов Егор Михайлович, секретарь В. И. Монса, арестован в 1724 г. по «делу Монса» и сослан в Рогервик под Ревелем, после возвращения из ссылки в 1725 г. служил при Дворе Елизаветы Петровны и пользовался ее расположением, в 1731 г. был вновь арестован и сослан в Нерчинск. Казнен в 1736 г. Его лирические стихи были также опубликованы М. И. Семевским (Указ соч. С. 201, 353-355).

<sup>3</sup>«Духовный Регламент» — устав Русской Православной Церкви, утвержденный указом Петра I от 25 января 1721 г., проект регламента был подготовлен Феофаном Прокоповичем.

<sup>4</sup>Имеются в виду «Сочинения» Ломоносова в 3-х томах, изданные А. Ф. Смирдиным в 1847 г. (2-е изд. — 1850г.) в серии «Полное собрание сочинений русских авторов».

<sup>5</sup>Академическое собрание сочинений Ломоносова выходило с 1891 г. под редакцией академика М. И. Сухомлинова (Т. 1—5; 1891—1902), Б. Н. Меншуткина и Г. М. Князева (Т. 6; 1934), Б. Н. Меншуткина (Т. 7; 1934) — все эти тома были подготовлены до революции; в 1948 г. вышел в свет т. 8, подготовленный к печати Л. Б. Модзалевским под редакцией С. И. Вавилова.

<sup>6</sup>Пекарский Петр Петрович (1827—1872), историк, библиограф, академик Императорской Академии Наук с 1864 г.; подготовил к изданию документы о Ломоносове из Архива Академии Наук, составил биографию ученого, помещенную в «Истории Императорской Академии Наук».

<sup>7</sup>Куник Арист Аристович (1814—1899), историк, филолог, академик Императорской Академии Наук с 1850г., опубликовал материалы для биографии Ломоносова

<sup>8</sup>Биллярский Петр Спиридонову (1819-1867), языковед-славист, академик Императорской Академии Наук с 1863г., опубликовал материалы для биографии Ломоносова.

<sup>9</sup>Ламанский Владимир Лванович (1833—1914), историк, филолог, этнограф, академик Императорской Академии Наук с 1900г., ученик И. И. Срезневского, один инициаторов празднования юбилея Ломоносова (1865); подготовил сообщение «Ломоносов и Петербургская Академия Наук».

<sup>10</sup>Будилович Антон Семенович (1846—1908), филолог, историк, этнограф, член-корреспондент Императорской Академии Наук, автор работ о Ломоносове как натуралисте и филологе (1869) и о Ломоносове как писателе (1871).

<sup>11</sup>Любимов Николай Алексеевич (1830-1897), публицист, физик, автор монографии «Жизнь и труды Ломоносова» (1872).

<sup>12</sup>Посошков Иван Тихонович (1652-1726), экономист, публицист, сторонник Петровских преобразований, автор «Книги о скудости и богатстве» (1724, издана в 1842 г.).

<sup>13</sup> Головин Николай Федорович (ум. 1745), граф, адмирал, президент Адмиралтейств-Коллегий.

<sup>14</sup> Юсупов Борис Григорьевич (1696-1759), князь, президент Комерц-Коллегии в 1741-1750 гг.

<sup>15</sup> Брашке, лекарь Ингерманландского пехотного полка.

<sup>16</sup> Волынский Артемий Петрович (1689—1740), государственный деятель и дипломат, с 1738 г. кабинет-министр императрицы Анны Иоанновны, казнен по обвинению в замыслах государственного переворота. Однажды вместе с подчиненными ему солдатами избил почти до полусмерти придворного поэта императрицы Анны Иоанновны В. К. Тредиаковского.

<sup>17</sup> Чернышев Григорий Петрович (1672—1745), граф, один из «птенцов гнезда Петрова», генерал-аншеф, сенатор.

<sup>18</sup> Имеется в виду Алексей Григорьевич Разумовский.

<sup>19</sup> Имеется в виду М. Е. Шувалова, жена П. И. Шувалова.

<sup>20</sup> Имеется в виду граф Петр Семенович Салтыков (1696-1772), генерал-фельдмаршал, командующий русской армией в 1759-1760 гг. в Семилетней войне, московский генерал-губернатор в 1764—1771 г.

<sup>21</sup> Имеется в виду Н. И. Панин.

<sup>22</sup> Измайлова (урожд. Нарышкина) Настасья (Анастасия) Михайловна (1703-1761), статс-дама при Дворе императрицы Елизаветы Петровны, жена генерал-майора В. А. Измайлова.

<sup>23</sup> Одоевский Иван Васильевич (1710-1758), князь, президент Вотчинной Коллегии с 1741 по 1744 гг., с 1746 г. назначен в присутствие в Сенат.

<sup>24</sup> Фонтенель Бернар Ле Бовье де (1657-1757), французский философ и поэт, секретарь Парижской Академии Наук, автор книги «Разговоры о множестве миров», которую в 1730 г. перевел А. Д. Кантемир (СПб., при т. Академии Наук, 1740; 2-е издание — 1761). В 1756 г. Синод обратился к императрице Елизавете Петровне с прошением, чтобы никто о множестве миров не писал и не печатал, а книгу Фонтенеля, имеющуюся у многих, приказано было отобрать и прислать в Синод. Обращение, понятно, осталось без последствий.

<sup>25</sup> Аврамов Михаил Петрович (1681-1752), писатель, переводчик, начинал со службы подьячим Посольского Приказа, основатель и директор типографии в Петербурге, с 1721 по 1724г. служил в Берг-Коллегии. При Петре II публично обличал петровские реформы, обвинял Феофана Прокоповича в ереси и пособничестве «нечестивым царям»; при императрице Анне Иоанновне сослан в Охотск, откуда был возвращен императрицей Елизаветой Петровной, в 1748 г. вновь попал под следствие Тайной Канцелярии.

<sup>26</sup> Гюйгенс Христиан (1629-1695), нидерландский ученый, изобрел маятниковые часы со спусковым механизмом, создал волновую теорию света (1678), усовершенствовал телескоп, открыл кольцо у Сатурна и один из его спутников.

<sup>27</sup> Байер Готфрид Зигфрид (1694—1738), немецкий историк, филолог член Академии Наук с 1725 г.

<sup>28</sup> Крекшин Петр Никифорович (1684-1763), автор записок и собиратель материалов о петровском времени, которыми пользовались В. Н. Татищев, М. М. Щербатов и др.

<sup>29</sup> Озерецковский Николай Яковлевич (1750-1827), естествоиспытатель, академик Имп. Академии Наук, участник Оренбургской экспедиции под руководством И. И. Лепехина.

<sup>30-31</sup> Севергин Василий Михайлович (1765—1826), академик Имп. Академии Наук, один из основателей русской минералогической школы.

<sup>32</sup> Гассенди Пьер (1592-1655), французский философ, математик, астроном.

<sup>33</sup> См. № 48-50 раздела «Слово современников о Ломоносове».

<sup>34</sup> Язык племени, проживавшего до XI-XII вв. на севере Германии.



<sup>35</sup> См. стихотворение в прозе «Русский язык» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти т. Т. 10. М., Наука, 1982. С. 172).